

В. Н. Майков

Нечто о русской литературе в 1846 году

Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века / Подгот. текста, сост., вступ. статья и примеч. В. К. Кантора и А. Л. Осповата. — М.: Искусство, 1982. — (История эстетики в памятниках и документах).

Периоды развития литературы наступают и проходят, не справляясь с искусственным разделением времени на годы. Зачем же сохраняется до сих пор обычай в первых числах нового года отдавать публике отчет в том, что прочла она в течение старого? Какой интерес может иметь перечень книг, изданий и статей, о которых во время выхода их в свет уже говорено было подробно? Не все ли равно — прочитать на обертках двенадцати книг того или другого журнала названия всех разобранных им в течение года сочинений? Говорят, будто такие очерки могут служить материалами для будущей истории литературы. Но что сказали бы подписчики журнала *в настоящее время*, если б узнали, что он трудится не для них, а для тех из их потомков, которые вздумают когда-нибудь заниматься историей отечественной литературы?

Это особенно справедливо в отношении к годам, ничего не значащим отдельно. А такие годы бывают нередко; их можно назвать переходными. Они свидетельствуют только о том, что мысль, одушевлявшая период, начинает изнемогать, истощаться в содержании; что общество утомляется той точкой зрения, с которой смотрело на вещи в течение этого периода; что партии, образовавшиеся под влиянием духа времени, начинают распадаться.

В это время (веселое, но бесплодное время!) каждый спешит отдать себе отчет в характере своего призвания, бойко анализирует свои отношения к кругу, в котором находится, старается высвободиться из-под влияния, которое увлекало его

в круговорот деятельности вопреки его настоящему, природному влечению; одним словом, это — краткий миг всеобщего раздумья, всеобщей самостоятельности, всеобщего порыва к обнаружению своей личности. В это блаженное время мало работается, зато много думается, многое предпринимается, объявляется и собирается; надежда захватывает дух, и мысль несется в будущее... Бодрый работник, поглощенный процессом труда, метким взглядом окидывает все стороны, смекая, где можно будет положить больше сил, где потребуется больше печатных листов и бессонных ночей, где попрочнее капиталы и повернее заказы; юноша с блистающим взором самоуверенно и доверчиво кидается под зыбкую сень первого попавшегося ему в глаза предприятия в полном убеждении, что мысль его, незадолго до того стяжавшая ему цветущий лавр в школе и в тесном кружку школьных товарищей, дивным, неожиданным светом прольется на целый мир, трепещущий в ожидании ее и в забвении всего остального; непреклонный утопист в костюме отжившего покроя показывается из-за темного угла городского предместья, с пожелтевшею и отсыревшею тетрадью проекта, вогнавшего его в слезную нищету и осеребрившего его горячую голову преждевременными сединами; а пройдоха прикидывает на счетах, какую бы новую дрянь превознести ему до небес, не моргнув глазом, и в какую новую светлую точку наметить повернее куском свежей грязи... Все суетится в картине, перспектива потеряна, линии выются и путаются, фигуры дрожат в быстро изменяющемся свете; одни типографские наборщики сохраняют свое неподвижное безучастие к беспокоящейся вокруг них мятелице...

Но все это беспокойство не имеет почти никакого печатного выражения, кроме программ и объявлений: чем разрешится оно на деле — это еще загадка будущего.

Истекший 1846 год носит на себе все признаки переходной эпохи. Во все это время происходило в русском литературном мире какое-то не совсем обыкновенное брожение; расклеивалось множество плотных масс, распадалось и формировалось вновь множество групп; раздавались свежие звуки новых надежд

и хриплые стоны давно подавленного отчаяния. И все это разрешилось программами и объявлениями об изданиях, имеющих печататься в 1847 году¹. Таким образом, в литературном отношении 1846 год был как бы приступом к 1847-ому; сам по себе он не имеет ровно никакого значения.

Еще в ноябре и декабре 1845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта. «Не хуже Гоголя», — кричали одни; «лучше Гоголя», — подхватывали другие; «Гоголь убит», — вопили третьи... *Удружив* таким образом автору «Бедных людей», глашатаи сделали то, что публика ожидала от этого произведения идеального совершенства и, прочитав роман, изумилась, встретив в нем, вместе с необыкновенными достоинствами, некоторые недостатки, свойственные труду всякого молодого дарования, как бы оно ни было огромно². Отчаянный размах энтузиазма, с которым спущена была новость, привел большую часть читателей к забвению самых простых истин: может быть, никого еще в свете не судили так неразумно строго, как г. Достоевского. Предположили, что «Бедные люди» должны быть венцом литературы, прототипом художественного произведения по содержанию и по форме; а автора их наперед решились лишить даже возможности совершенствования. Результат всего этого был тот, что большая часть публики по прочтении «Бедных людей» некоторое время преимущественно толковала о *растянутости* этого романа, умалчивая об остальном. То же самое повторилось по выходе в свет «Двойника»³. Можно решительно сказать, что полный успех эти два произведения имели в небольшом кругу читателей. Мы полагаем, что кроме приведенной нами причины нерасположения большинства публики к сочинениям г. Достоевского следует искать в непривычке к его оригинальному приему в изображении действительности. А между тем этот прием, может быть, и составляет главное достоинство произведений г. Достоевского. Напрасно говорят, что новость всегда приятно действует на большинство. Во-первых, большинство не везде одинаково; во-вторых, во всяком большинстве до известной степени действует

рутина. Есть примеры мгновенного успеха весьма посредственных литературных произведений — успеха, основанного действительно не на чем ином, как на новизне содержания; зато сколько же примеров и холодности, с которою в разные времена и в разных местах встречались произведения истинно изящные, в последствии времени признанные первоклассными и вознесенные до небес! Если Гоголь был не понят и не оценен в первые годы своей деятельности по противоположности его произведений с романтическим направлением, господствовавшим в то время в нашей литературе, то нет ничего мудреного, что и популярность Достоевского нашла себе препятствие в противоположности его манеры с манерой Гоголя. Дело только в том, что Гоголь своими произведениями содействовал к совершенной реформе эстетических понятий в публике и в писателях, обратив искусство к художественному воспроизведению действительности. Произвести переворот в этих идеях значило бы поворотить назад. Произведения г. Достоевского, напротив того, упрочивают господство эстетических начал, внесенных в наше искусство Гоголем, доказывая, что и огромный талант не может идти по иному пути без нарушения законов художественности. Тем не менее *манера* г. Достоевского в высшей степени оригинальна и его меньше, чем кого-нибудь, можно назвать подражателем Гоголю. Если бы вы назвали его этим именем, вам бы пришлось и самого Гоголя назвать подражателем Гомера или Шекспира⁴. В этом смысле все истинные художники подражают друг другу, потому что изящество всегда и всюду подчинено одним и тем же законам.

И Гоголь и г. Достоевский изображают действительное общество. Но Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума⁵. Гоголь тогда только вдохновляется лицом, когда чувствует возможность проникнуть с ним в одну из обширных сфер общества. Чтоб поладить с Чичиковым, он изъездил с ним все углы и закоулки русской

провинции. То же самое можно сказать и о всех его произведениях, за исключением разве «Записок сумасшедшего». Собрание сочинений Гоголя можно решительно назвать художественной статистикой России. У г. Достоевского также встречаются поразительно художественные изображения общества; но они составляют у него фон картины и обозначаются большею частью такими тонкими штрихами, что совершенно поглощаются огромностью психологического интереса. Даже и в «Бедных людях» интерес, возбуждаемый анализом выведенных на сцену личностей, несравненно сильнее впечатления, которое производит на читателя яркое изображение окружающей их сферы. И чем больше времени проходит по прочтении этого романа, тем больше открываешь в нем черт поразительно глубокого психологического анализа. Мы убеждены, что всякое произведение г. Достоевского выигрывает чрезвычайно много, если читать его во второй и в третий раз. Мы не можем объяснить этого иначе, как обилием рассеянных в нем психологических черт необыкновенной тонкости и глубины. Так, например, при первом чтении «Бедных людей», пожалуй, можно прийти в недоумение — зачем вздумалось автору заставить Варвару Алексеевну в конце романа с таким холодным деспотизмом рассылать Девушкина по магазинам с вздорными поручениями. Однако ж эта черта имеет огромный смысл для психолога и сообщает целому сочинению интерес необыкновенно верного снимка с человеческой природы. Само собой разумеется, что любовь Макара Алексеевича не могла не возбуждать в Варваре Алексеевне отвращения, которое она постоянно и упорно скрывала, может быть, и от самой себя. А едва ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое нерасположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который (сохрани боже!) еще нас любит! Кто потрудится пошевелить свои воспоминания, тот наверное вспомнит, что величайшую антипатию чувствовал он никак не к врагам, а к тем лицам, которые были ему преданы до самоотвержения, но которым он не мог платить тем же в глубине души. Варвара Алексеевна (мы в этом глубоко убеждены) томилась преданностью Макара Алексеевича больше, чем своей сокрушительной бедностью, и не могла, не должна была отказать

себе в праве помучить его несколько раз лакейскою ролью, только что почувствовала себя свободной от тягостной опеки. Неестественно человеку столько времени изнывать от насилия, в котором видит привязанность, и когда-нибудь не вступить за поруганную самостоятельность своей симпатии. Впрочем, что ж? Чувствительные души, которые не выносят уразумения подобных фактов, могут утешить себя тем, что все-таки перед отъездом в степь, где «ходит баба бесчувственная, да мужик необразованный пьяница ходит», Варвара Алексеевна написала Макару Алексеевичу письмо, в котором называет его и другом, и голубчиком.

При первом прочтении очень легко пропустить без внимания приведенную нами черту. Довольно сказать, что многим казалась она даже излишнею и неестественною. Но перечтите «Бедных людей» уже после того, как время дало вам возможность оценить все подробности этого создания — и вы найдете в них бездну достоинств, которые с первого взгляда и вам, и нам, и всякому читателю, и рецензенту могли показаться недостатками.

«Двойник» имел гораздо меньше успеха, чем «Бедные люди», что, по нашему мнению, еще менее говорит в пользу успехов всего нового. В «Двойнике» манера г. Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машину человеческих чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением «Двойника», можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи. Странно: что, кажется, может быть положительнее химического взгляда на действительность, а между тем картина мира, просветленная этим взглядом, всегда представляется человеку облитой каким-то мистическим светом. Сколько мы сами испытали и сколько могли заключить о впечатлениях большей части поклонников таланта г. Достоевского, в его психологических этюдах есть тот самый мистический отблеск, который свойствен вообще изображениям глубоко анализированной действительности.

«Двойник» разворачивает перед вами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности частных интересов в благоустроенном обществе. Вспомните этого бедного, болезненно самолюбивого Голядкина, вечно боящегося за себя, вечно мучимого стремлением не уронить себя ни в каком случае и ни перед каким лицом и вместе с тем постоянно уничтожающегося даже перед личностью своего шельмеца Петрушки, постоянно соглашающегося обрезать свои претензии, *наличность*, лишь бы *пребыть в своем праве*; вспомните, как малейшее движение в природе кажется ему зловещим знаком сговорившихся против него врагов всякого рода, врагов, посвятивших себя вполне и нераздельно на вред ему, врагов, вечно бодрствующих над его несчастной особой, упорно и без *роздыха подкапывающихся* под его *маленькие* интересы, — вспомните все это и спросите себя, нет ли в вас самих чего-нибудь голядкинского, в чем только никому нет охоты сознаться, но что вполне объясняется удивительной гармонией, царствующей в человеческом обществе... Впрочем, если вам скучно было читать «Двойника», несмотря на невозможность не сочувствовать созданию Голядкина, то в этом все-таки нет ничего удивительного: анализ не всякому сносен; давно ли анализ Лермонтова многим, колот глаза? давно ли в поэзии Пушкина видели какое-то нестерпимое начало?

Не можем не сказать здесь нескольких слов о третьем произведении г. Достоевского — о «Господине Прохарчине», небольшой повести, помещенной в октябрьской книжке «Отечественных записок» прошлого года. Читая эту повесть, мы испугались одного подозрения, от которого до сих пор не можем отказаться. Нам кажется, что до автора ее дошли жалобы на растянутость его произведений и что он готов в угоду читателей жертвовать слишком многим в пользу драгоценной *краткости*, которой масштаб, впрочем, едва ли кем-нибудь определен положительно. По крайней мере не знаем, чем иным объяснить неясность идеи рассказа, вследствие которой каждый понимал и имел право понимать его по-своему, как не тем, что автор удержался от полного ее развития из опасения новых

обвинений в растянутости. Никто не хотел даже остановить внимания на настоящей (по нашему мнению) идее повести, потому что ей посвящено слишком мало труда. Слушая различные толки об идее, выраженной в «Господине Прохарчине», мы сначала удивлялись, почему никто не принимает в соображение того обстоятельства, что по смерти героя этой повести в тюфяке его нашелся запрянутый капитал; а потом стали извинять это самоволие ценителей собственным промахом г. Достоевского. Мы уверены, что он хотел изобразить страшный исход силы господина Прохарчина в скопидомство, образовавшееся в нем вследствие мысли о *необеспеченности*; но в таком случае надо было яркими красками обрисовать его силу во все продолжение рассказа. Если б на выпуклое изображение этой личности употреблена была хоть третья часть труда, с которым обработан Голядкин, — развязка повести не могла бы никоим образом ускользнуть от внимания читателей, и не было бы споров об идее ее. Не можем не пожелать, чтобы г. Достоевский более доверялся силам своего таланта, чем каким бы то ни было посторонним соображениям. А впрочем, советовать легко...

В прошлом году за современною школою литературы утвердилось самым прочным и самым оригинальным образом лестное для нее название *натуральной*⁶. Факт этот должен быть тем приятнее для писателей, принадлежащих к этой школе, что оно дано ей газетой, нападающей на современную русскую литературу, образовавшуюся под влиянием Гоголя. Впрочем, комизм этой осечки в свое время уже произвел такое сильное впечатление на публику, что мы считаем достаточным занести только факт в летопись истекшего года, не входя в рассмотрение всех обстоятельств, сопровождавших любопытный выстрел. В свое время он, вместо того, чтоб попасть в группу противников, попал в своих: само собою разумеется, что эту группу, или школу, в противоположность первой, пришлось назвать риторическую или ненатуральною...⁷.

Однако же, *падая от руки дружной*, ненатуральность не могла не сделать усилий подняться на ноги: кому не дорого

существование?

Некто, скрывший имя свое от взоров истории, но, по всей вероятности, принадлежащий к дружине *ненатуральных*, собрал остаток сил и пустил дрожащею рукою в неприятельский лагерь точно такую же стрелу, какая пущена была за несколько времени перед тем виновником первого промаха... Важность скорбного приключения заставила нас выразиться здесь высоким слогом; слово «стрела» есть аллегорическое выражение: мы разумеем под ним не более не менее как статью, напечатанную в одном из последних номеров «Иллюстрации» и направленную против любителей натуральной школы⁸. В этой статейке ненатуральность пересказывает по-своему мысли о натуральности, выраженные в «Отечественных записках», в первой критической статье по поводу стихотворений Кольцова⁹. Но не в том дело. Замечательнее всего, что неизвестный автор статейки вздумал воспользоваться особенного рода игрой слов для того, чтобы нанести решительный удар и критике натуральной школы и самой школе. Вот в чем дело.

Всем известно, что в двадцатых годах слово *романтизм* употреблялось в значении *благородном*... Под ним разумели тогда свободу творчества, противопоставляя ему слово *классицизм*. Но несколько лет назад эстетические идеи изменились до того, что слова «романтизм», «романтик», «романтический» и проч. сделались оскорбительными. Однажды мы уже имели случай рассказать читателям, к каким уловкам прибегают в наше время, чтобы не заслужить прозвания «романтика»¹⁰... Но до сих пор можно еще указать на Руси людей, считающих романтизм за последний прогрессивный шаг искусства и называющих романтиками всех современных художников. Рецензент «Иллюстрации» сообразил, что, воспользовавшись такою двусмысленностью понятия и слова, можно напечатать очень колкую остроту против критиков, защищающих Гоголя и его школу. В самом деле, как не сострить? Эти критики поносят романтизм, а по учению гг. Греча, Плаксина и Асоченского и Гоголь принадлежит к романтической школе¹¹, следовательно, критики натуральной школы, уничтожая романтизм, уничтожают

и автора «Мертвых душ»... Но это еще не все; это даже еще ровно ничего в сравнении с тем, что сейчас будет. Автор остроумной статейки, увлекаясь все более и более справедливым негодованием на критику «Отечественных записок»

И вящим жаром возгоря¹²,

объявил, что претензии современной школы искусства на натуральность решительно неуместны; что натуральность не ее изобретение; что все великие создания искусства всегда и всюду были в высшей степени натуральны. Вот какую новость объявила «Иллюстрация»! Поздравляем, вторично поздравляем натуральную школу с окончанием ее тяжбы. Прямые поборники ее никогда не решались объявлять, что Гомер и Шекспир и Гете принадлежали к натуральной школе; а оппоненты объявляют это напрямик. Что ж остается делать теперь защитникам гоголевской школы? Остается только составить окончательный протокол процесса, что мы и исполняем. Вот пункты протокола: Романтическая критика утверждает:

1) что современная школа искусства, образовавшаяся под влиянием Гоголя, достойна названия натуральной;

2) что школа эта не изобрела никакого нового эстетического принципа и держится тех же начал, которые осуществлены в созданиях великих художников всех веков и всех народов.

Согласно с сим, критика натуральной школы, с своей стороны, заключает:

1) что романтическая школа, как противоположная натуральной, достойна названия ненатуральной, риторической тож;

2) что риторическая школа изобретает новые эстетические принципы, противные началам, осуществившимся в созданиях великих художников всех веков и всех народов. Следственно, дело кончено.

Литературная ферментация истекшего года разрешилась, как мы уже сказали, объявлениями о коренных преобразованиях нескольких периодических изданий¹³. Определить характер этих преобразований заранее невозможно. Но вот что замечательно. Предстоящее в будущем году усиление нашей журнальной деятельности не всем равно приятно. Бог знает откуда взялось у нас мнение, будто бы, под влиянием периодических изданий, вся русская литература получила характер журнальный. Эта мысль, конечно, нисколько не вредит русской журналистике, чему лучшим доказательством служат помянутые нами объявления; тем не менее нельзя не обратить на нее внимание как на заблуждение, связанное со многими другими заблуждениями.

Слова «журнал поглотил у нас книгу»¹⁴ всегда казались нам натянутыми и ни с чем не сообразными. Пусть назовут хоть два или три хорошие сочинения, которые не имели бы у нас успеха, потому что появились не в журнале. Этого никто не может сделать; гораздо легче назвать множество сочинений, которые расходились очень сильно, несмотря на то, что печатались в журналах до выхода в свет отдельными книгами. И с какой стороны ни смотрите на вопрос, на поверку всегда выходит, что журнал не только не убивает сочинений, издаваемых отдельно, но еще дает им ход. Поместите ваше сочинение в журнале и потом издайте его отдельно: в журнале его прочтут несколько тысяч человек, и тем самым репутация его уже сделана; если оно действительно хорошо или если оно принадлежит к числу тех, которые необходимы значительному классу людей иметь постоянно под рукою, вы можете быть уверены, что по выходе его отдельной книгой, не купят его только те люди, которые вообще не имеют ни потребности, ни средств, ни обычая издерживаться на библиотеку. Между тем, с другой стороны, помещение вашего труда в журнале уже возбудило в публике требование на него. Есть и такие люди, которые убеждены, что журнальная критика убивает много хороших произведений своими неодобрительными отзывами. Само собою разумеется, что эта часть жалобы относится к критике слепой или продажной. Но, кажется, не трудно смекнуть, что и критика такого рода имеет свою репутацию в этом

отношении: бывают и такие издания, которых похвалы достаточно для того, чтоб поселить в публике полное недоверие к достоинствам разбираемой ими книги, и наоборот.

Одним словом, пора перестать вооружаться против фантома. Мы, с своей стороны, скорее готовы спорить о несуществовании у нас настоящей журналистики, чем о чрезмерном усилении журнального характера литературы.

Главный недостаток большей части наших журналов и газет заключается в самом их происхождении. Почти все они возникли не вследствие идеи, искавшей себе обнаружения в обществе... В этом отношении их скорее можно назвать ежемесячными сборниками статей, чем журналами в настоящем смысле. К этому понятию так привыкла наша публика, что некоторые журналисты решаются даже выставять перед ней бесхарактерность своих изданий как отличительное их достоинство. Одни из них с постоянным самодовольствием дают знать каждый месяц, что публика никогда не слыхала от них решительных приговоров ничему на свете, другие с не меньшей гордостью повторяют, что они приняли за правило — не принимать серьезно никаких общественных и литературных явлений; третьи — открыто поставили себе в обязанность не щадить ничего, что сколько-нибудь походит на характер; четвертые — беспрестанно уверяют публику, что стоят за одну *правду*, предоставляя каждому давать этому отвлеченному понятию какой угодно смысл и понимая его про себя совершенно оригинальным образом. Этим объясняется удивительная непоследовательность в содержании наших периодических изданий. Встречая в русском журнале такую-то статью, вы очень редко можете отдать себе отчет — почему попала она в этот, а не в другой какой журнал. А между тем непоследовательность-то статей и нравится издателям: они называют ее разнообразием, разносторонностью, занимательностью и тому подобными приятными словами.

В противоположность этой бесхарактерности большей части журналов и газет некоторые издания в свою очередь отличаются

забавною скрупулезностью в поддержании своего направления. Для журналистов, впадающих в такую крайность, характер журнала и убеждения его редактора — две вещи разные: пусть убеждения его развиваются и изменяются сами по себе, дух журнала должен оставаться неизменным, тоже сам по себе. Мы всегда готовы предположить в изменении идей того или другого лица какую-нибудь внешнюю причину — индустриальный или иной расчет, бессилие в борьбе с противною стороною и все, что угодно, кроме внутреннего совершенствования. При таком взгляде на вещи со стороны публики надо иметь достаточный запас героизма, чтоб признаться в собственных успехах, и столько же ловкости, чтоб выдерживать роль человека, запасшегося на всю жизнь неизменными понятиями о вещах. Примеры ловкости вообще чаще встречаются, в мире, чем примеры героизма, и потому нет ничего удивительного, что и в русской журналистике первое свойство преобладает над последним. Все легкое чрезвычайно соблазнительно; и что может быть легче, как выдержать роль, если не имеешь другой претензии, кроме той, чтоб роль была выдержана во что бы то ни стало? Сколько есть на свете пустейших людей, которые понимают, что им решительно нечем взять, как разве оригинальничаньем, и которые прекрасно исполняют свое амплуа от первого пушка на подбородке до снежных сединок на голове. В журнальном деле это еще легче: стоит только молчать, когда вас уличают в таких заблуждениях, в которых нет никаких средств оправдываться, и указывать на такие промахи противников, которые нисколько не касаются спорного пункта; — в печатных состязаниях это очень удобно. Впрочем, этот секрет до того известен, что об нем нет нужды распространяться. Мы хотели только сказать, что наши журналы и газеты, которых счетом очень немного, большею частию издаются или вовсе без всякой идеи или с такими идеями, которые не пользуются большим кредитом в глазах самих издателей. Этого обстоятельства одного уже достаточно для опровержения мнения, будто бы литература наша в последнее время получила характер журнальный. Откуда же мог взяться этот журнальный характер целой литературы, когда еще и самые журналы-то наши так мало походят на журналы?

Против всего этого могут заметить, что у нас нельзя и представить себе иных журналов, кроме таких, какие издаются теперь, потому что в самой публике нашей нет котерий, основанных на различном понимании идей. Если здесь под словом «котерии» разумеать исключительно группы представителей различных общественных убеждений, то возражение это справедливо. Но в наше время, кажется, уж доказано, что общественные идеи сами по себе не имеют другого значения, кроме формального, что все они суть не что иное, как выводы из идей науки и зависят вполне от вопросов существенных. Следовательно, несуществование общественных котерий никак не может служить препятствием к существованию и борьбе идей несомненной важности.

Вообще, говоря, что наши журналы редко удовлетворяют тому назначению, какое приписывается журналам в Европе, мы не требуем от них того, чтобы они во всех отношениях были сколками с европейских периодических изданий. Напротив, часто нельзя не порицать в них именно этого стремления. Русские журналы, по нашему мнению, много теряют тем, что действуют так, как будто бы наша литература равнялась в обилии и зрелости литературе Франции, Англии и Германии. Характер журнальных статей должен обуславливаться положением остальных стихий литературы. Самое происхождение журналов в Европе имело главной причиной своей накопление капитальных, основных литературных трудов. Журнальные статьи о предметах, относящихся к физике, могли явиться только в такой литературе, которая изобиловала капитальными сочинениями о физике, и т. д. И чем более обогащалась европейская литература произведениями такого рода, тем подробнее становился интерес журнальных статей. В девятнадцатом столетии ученая литература в Европе приняла такое монографическое направление, переполнилась таким множеством превосходных сочинений, посвященных обработке отдельных вопросов всякого рода, что статьи журналов должны были окончательно заключиться в самые тесные рамы. Что не носит на себе этого характера частности или животрепещущей новизны, то, по всей справедливости,

в европейском журнале кажется наивным и школьным. Наши журналы в этом отношении считают себя вправе держаться тех же правил — и, разумеется, жестоко ошибаются. Литература наша так бедна, что между наивностью русской журнальной статьи и наивностью статьи европейского журнала — расстояние неизмеримое. Странно! В каждом русском журнале беспрестанно повторяются жалобы на бедность русской ученой литературы, беспрестанно перечисляются существующие у нас сочинения по разным отраслям наук с целью показать их неудовлетворительность, а в то же время в каждом же журнале помещаются статьи такого дробного содержания, такого исключительного интереса, как будто бы они предназначались для чтения французской, английской или немецкой публики, плавающей в изобилии всевозможных руководств, диссертаций и лексиконов. Итак, если, с одной стороны, большая часть русских журналов отстала от журналов европейских — со стороны определенности направления, то, с другой стороны, ей приходится принять упрек и другого рода — упрек в подражательности западным периодическим изданиям, которая заставляет их забывать о настоящих потребностях русской публики.

Все это сочли мы нужным высказать потому, что чтение журналов составляет у нас значительнейшую умственную пищу людей, читающих по-русски. На этих-то людях отражаются самыми резкими чертами все недостатки нашей журналистики. Они образуют собою особенный, весьма любопытный тип. Вслушайтесь в разговор таких людей: с первого взгляда иной читатель русских журналов может показаться не только сведущим, но даже и человеком с убеждениями. Очень свободно коснется он в разговоре какого-нибудь животрепещущего опыта над влиянием электричества на растительность; упомянет, как о родном отце, о таком великом человеке, о котором месяц тому назад ровно ничего не знали ученые; опишет замысловатый прибор, только что давший известность скромному труженику науки, да вслед за тем обронит такие два-три словца, что вы долго не будете знать, обмолвился ли этот сведущий человек, или забавляется он над вами, или, наконец, просто пребывает в блаженном неведении

азбучных истин. Что касается до нас, то встреча с таким господином всегда напоминает нам одного немца, которого вся библиотека состояла из тома известного немецкого конверсационс-лексикона, заключающего в себе объяснение слов, начинающихся с букв G и H: этот немец очень обстоятельно говорил о жизни и сочинениях Гете и решительно ничего не знал о Шиллере, кроме того, что Шиллер был другом автора «Фауста». Так называемые убеждения читателя русских журналов также могут возбудить искреннее соболезнование: то кажется ему, что он выразился слишком сильно, пересолил, то, наоборот, мучит его мысль, что речь его слишком робка, что в идеи его вкралась уступка, лишаящая слова его всякой колоритности. Одним словом, он ни дать ни взять блуждает в области мысли, как чисто одетый господин, перебегающий без калош по переулку, усеянному лужами. Предоставляем читателям решить самим, могло ли бы все это быть, если бы направление журналов, которыми он исключительно питается, действительно можно было назвать направлением?

Рассматривая ученую литературу прошлого года, мы не можем не усилить несколькими тонами свою грустную песню о несуществовании у нас настоящей журналистики, действительно поглощающей иногда строгие требования искусства и науки. В жалобах на воображаемую журнальность нашей литературы нельзя не заметить сильной антипатии против того, что только выражает собой тесную связь науки с жизнью. Есть люди, вовсе не лишенные ума и образования, но пропитанные насквозь каким-то схоластическим взглядом на вещи: этих людей никак нельзя назвать неспособными от природы; есть даже сфера умственной деятельности, в которой не сравнится с ними человек, глубоко чувствующий связь мысли с жизнью, — именно сфера отвлеченных тонкостей, чисто диалектических, условных понятий и всякого рода логических фокусов. Но они до такой степени одержимы идеей, будто все существует в мире и должно существовать само по себе, что всякое гармоническое стремление кажется им нарушением естественного порядка и всякое слияние — хаосом. «Все существует само по себе и само для себя» — вот их основное

положение. В применении к практической деятельности это правило прекрасно, потому что вся задача жизни индивидуума заключается в полном удовлетворении потребностей. Но если распространить этот взгляд на различные сферы человеческой деятельности, выйдет чистая схоластика. Людям такого направления крайне противна всякая жизненность умственной деятельности, всякий союз теории с практикой; а так как почти единственный шаг к установлению этой гармонии сделала у нас все-таки журналистика, как бы она ни была далека от полноты своего назначения, то на нее и обрушивается весь груз их антипатии.

Несколько лет назад «Отечественные записки» занимались вопросом: существует ли русская литература? (речь шла об изящной литературе)¹⁵. Многим вопрос этот показался странным: «кажется, на русском языке написано столько сочинений всякого рода», — говорили в публике, — «что сомневаться в существовании русской литературы все равно, что сомневаться в существовании русского языка». Мало-помалу, однако ж, дело уяснилось, и на поверку вышло, что сомневаться в существовании русской литературы совсем не так наивно, как ставить ее наравне с другими европейскими литературами¹⁶. В отношении к искусству вопрос этот теперь уже можно считать решенным: но что касается до науки, нельзя не согласиться, что существование русской ученой литературы подлежит полному сомнению. По крайней мере русская ученая литература решительно не существует для того, кто не назовет этим именем груды сочинений всякого размера, не имеющих никакого отношения к потребностям нашего общества и одолженных своим происхождением или любви к науке в ее отвлеченном и чисто схоластическом значении, или обиходному честолюбию, или, наконец, просто безукоризненной стяжательности. Если исключить из трудов русских ученых некоторые труды по части русской истории, что останется от них такого, что удовлетворяло бы потребности ученого образования нашего общества? Не спорим, что от времени до времени появляются у нас сочинения, достойные даже перевода

на иностранные языки, достойные некоторой известности в любой европейской литературе. Но что же из этого?.. Брошюра, решающая какой-нибудь запутанный вопрос о сущности и объеме той или другой науки, может иметь важность для многих тысяч немцев, мучающихся этим вопросом. Но что может она значить у нас? Кому она интересна? Нескольким десяткам преподавателей, которые сделают из нее извлечение для своего курса, — не более. Наши ученые поминутно жалуются, что занятия их неблагодарны, что русское общество не нуждается в их сочинениях. Но спрашивается: как же согласить такие отзывы о публике с деятельностью наших *жрецов науки*? Сами же они сознаются, что общество не понимает их: отчего же не хотят они снизойти до его понятий и потребностей?

Между учеными сочинениями, вышедшими в прошлом году, весьма отрадное и живое явление представляет собой «Руководство к всеобщей истории» доктора Лоренца. В прошлом году вышло II отделение второй части этого капитального труда¹⁷. Это сочинение, как мы несколько раз имели случай замечать, должно составить эпоху в нашей исторической литературе и в преподавании у нас всеобщей истории. Впрочем, мы очень далеки от мысли о совершенной удовлетворительности труда г. Лоренца. История — такая наука, которая требует совокупной деятельности лиц с самыми разнообразными наклонностями и талантами. Ни обработать ее в одном сочинении, ни изучить по одному сочинению невозможно. «Руководство» доктора Лоренца имеет ту важность, что приучает смотреть на жизнь человечества как на процесс вечного развития. Оно самым делом убеждает в справедливости современного взгляда на сущность истории, и в этом ее главное достоинство. Странно и требовать чего-нибудь иного от самого лучшего руководства. Но русским ученым предстоит еще другая задача при обработке всеобщей истории. Общество наше давно уже нуждается в таких сочинениях, которые в совокупности своей представляли бы полную картину исторического развития всех отраслей жизни и мысли. Таким только образом наука может ввести Россию в полное духовное соприкосновение с историческими народами и привить ее жизнь

и ее мысль к их жизни и мысли. Но для исполнения этой задачи необходимо именно то, чего не видим мы в деятельности большинства наших ученых.

Из приведенных книг историко-политического содержания заметим последние части «Английской Индии», сочинения Варрена, и первые — «Истории консульства и империи» Тьера¹⁸.

Говоря о нашей ученой литературе, нельзя не заметить увеличения с каждым годом числа сочинений педагогического содержания. Правда, педагогика у нас почти не существует; но каждый месяц выходят в свет или руководства с претензией на педагогическое достоинство и с предисловием, в котором весьма убедительно доказывается, что автор проникнут началами педагогики, или отдельные брошюры о преподаваниях того и сего. Но до сих пор, за исключением «Библиотеки для воспитания», издаваемой г. Семеном, в этом отношении нет у нас ничего сколько-нибудь дельного. Две только истины о преподавании пущены у нас в ход: первая — что изложение наук в учебниках должно быть приурочено к понятиям детского возраста, вторая — что преподавание наук должно не только обогащать детей полезными сведениями, но и развивать их умственные способности. Наивность таких положений в их теоретическом виде отзывается самым забавным недоумением. Доказывать серьезно, что не годится говорить с кем бы то ни было языком ему непонятным и что науки должны не портить, а улучшать человека, и считать себя педагогом за распространение таких принципов — что это за факты, что это за деятельность, что это за литература? Одно только и утешительно во всем этом переливании из пустого в порожнее — именно: оно доказывает, что потребность в педагогике глубоко почувствована в нашем обществе. Стало быть, пришло для нас время серьезно думать о преподавании...

О специальных сочинениях из области наук практических, технологии, сельского хозяйства, медицины во всех ее отраслях, военных наук и проч., здесь не место судить. Заметим только, что в

прошлом году появлялись они в замечательном количестве. Напомним, например, продолжение «Полного курса прикладной анатомии» г. Пирогова, «Анатомию домашних животных» г. Всеволодова, «Геологическое путешествие по Алтаю» г. Шуровского, последнюю часть «Фортификации» г. Теляковского и проч.

Обрабатывание отечественной истории составляет у нас постоянное отрадное исключение из общего характера ученой деятельности. Нельзя сказать, чтобы на нем не отражалось схоластическое направление науки; однако же самый предмет по важности своей именно для нашего общества уже придает жизненности исследованиям. Сверх того, история — такая наука, которая труднее всякой другой подчиняется схоластике. Более всего схоластический характер, исторического сочинения может проявиться в мелочности изучаемых фактов. Но и то сказать: где предел исторических подробностей? Можно смеяться над ученым, который ограничивает свое понятие об истории знанием годов, имен, войн и т. п.; но никак нельзя поручиться, чтоб какое-нибудь, по-видимому, ничего не значащее обстоятельство разъясняемое кропотливою эрудицией, не повело когда-нибудь, в связи с другими фактами, к соображениям великом важности.

Из трудов по части русской истории, вышедших в истекшем году, кроме «Актов археографической комиссии», драгоценной летописи Нестора по Лаврентьевскому списку нельзя не указать на третий том «Истории Смутного времени» г. Бутурлина, «Историю христианства в России до равноапостольного князя Владимира», сочинение архимандрита Макария¹⁹, "Книгу, глаголемую Большой Чертеж, изданную Г. И. Спасским, «Историю Малой России» Георгия Конисского, помещенную в «Чтениях Императорского Общества Истории и Древностей Российских»²⁰, «О русском войске в царствовании Михаила Феодоровича» г. Беляева, «Текст Русской Правды» г. Калачова²¹ и на статью «О родовых отношениях между князьями древней Руси» профессора Соловьева, напечатанную сначала в «Московском сборнике», потом изданную отдельно. Военная история России

обогадилась сочинением генерала-лейтенанта Михайловского-Данилевского — «Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах».

Между тем как критическая обработка русской истории постоянно облегчается изданием в свет драгоценных источников, русская статистика страдает от недостатка материалов и от недостоверности тех, которые имеются у нас налицо. Сознание этой истины выразилось в одном весьма замечательном произведении истекшего года, вышедшем в Киеве под заглавием: «Об источниках статистических сведений», сочинении Д. Журавского²². Несмотря на преувеличенное мнение о важности статистических подробностей и на несколько фантастическое понятие об объеме статистики и методе ее обработывания, сочинение г. Журавского должно быть замечено как энергический протест логики и страсти против всего, что сопровождает у нас собирание статистических фактов, и как один из утешительных проблесков живого понимания науки. В этом отношении замечательно также «Критическое исследование значения военной географии и военной статистики», сочинение Милютина. Правда, если хотите, и здесь дело идет не больше как о разграничении двух наук; но нам нравится в этой брошюре то, что автор, видимо, сам досадует на схоластический характер своей темы и развивает ее только потому, что изданная им брошюра служит введением к труду более живому и существенному. Притом в этой брошюре встречаются весьма дельные замечания о науке вообще, как будто отрывки из той логики, которая еще не существует в виде науки... Наконец, разбор русских и иностранных сочинений о военной географии и военной статистике, вошедший в сочинение г. Милютина, можно назвать образцовым библиографическим очерком. Боясь пропустить в ученой литературе прошлого года какое-нибудь замечательное исключение, назовем еще помещенную в «Журнале Министерства народного просвещения» небольшую и, кажется, наскоро написанную статью профессора Порошина «О земледелии в политико-экономическом отношении»²³ и другую — профессора Линовского «Об окончательном отменении хлебных законов в Англии»,

помещенную сначала в «Московском ученом и литературном сборнике» и изданную потом отдельною книжкой²⁴. Впрочем, обе эти статьи замечательны не как разрешения, а, скорее, как изложения живых вопросов. Затем остается упомянуть о выходе в свет четвертой части второго издания «Географии» Соколовского²⁵ и первых двух томов первой части «Истории русской словесности» г. Шевырева²⁶ — книги, которая, несмотря на ложную точку зрения, избранную автором, все-таки замечательна как сборник материалов для изучения древней русской письменности.

В последние годы критика наша уяснила и установила различие между произведениями художественными, учеными и беллетристическими²⁷. Не разделяя школьного взгляда на важность разделений, мы полагаем, однако ж, что удачное разделение может иногда сильно содействовать светлому уразумению сущности предмета. Сверх того, бывают случаи, когда новое разделение выражает собою признание самостоятельности какой бы то ни было части. По этим двум причинам разделение литературных произведений на художественные, ученые и беллетристические гораздо важнее, чем это может показаться с первого взгляда. О теоретической важности его не раз было уже говорено в «Отечественных записках». Что же касается до исторического его значения, то скажем о нем здесь несколько слов, потому что решились не пропустить в этой статье замечательнейших эстетических понятий, утвердившихся в последнее время и явившихся в истекшем году в характере окончательных приобретений. Кстати, их и немного.

С первого взгляда может показаться, что всякая эстетическая теория налагает цепи на творчество и задерживает свободное развитие талантов: но прежде чем произносить такой приговор всем эстетическим теориям, следовало бы, по нашему мнению, сделать различие между теориями вообще и вспомнить, что слово *теория* в наше время получило совершенно новый смысл. Было время, когда оно употреблялось без всякого различия в науках, посвященных изучению вечных, неизменных законов

мира, и в науках практических, занимающихся исследованием законов человеческой деятельности. В то время наука прописывала свои рецепты малейшим движениям души и тела... Во всяком начинании своем человек встречался с тяжелыми цепями науки. Вся деятельность его, до тех пор, впрочем, подчиненная другому рода авторитету — именно авторитету рутины, с тоскливым кривлянием полезла в рамки и в клетки схоластики, тяготевшие до того времени исключительно над отвлеченным исследованием мировой жизни. И долго человек сеял, пахал, воевал, говорил, писал и ходил по теории. Однако ж этот порядок вещей кончился невозвратно, и все, что еще носит на себе его отпечаток, встречает такую энергическую ненависть живых органов человечества, что никто не имеет права допустить малейшее сходство прежнего значения слова *теория* с тем, которое имеет оно в наше время. Спрашивается: как смотрят современные нам умы на теорию, если не как на исследование условий, без которых невозможна та или другая деятельность? Так, например, в чем состоит новейшая теория сельского хозяйства? Не в чем ином, как в прямом, ни к чему не обязывающем определении замеченных опытом отношений природы к потребностям человека. «При таких-то условиях почвы, климата и общественности земледельческий труд выгоден настолько-то, а при иных — вреден настолько-то» — вот формула современной агрономической науки. Какие выводы сделает из нее практический человек --до этого ей нет дела: она вполне понимает свое бессилие для борьбы с его произволом. Точно то же можно отнести и к современной эстетике: и она отказалась навсегда от титула руководительницы художественного таланта; сфера ее ограничивается опытным *исследованием обстоятельств*, сопровождающих зачатие, развитие и выражение художественной мысли. Такой теории уже нет никакой возможности обратить в рецепт, и потому водворение ее в науку выражает собой не что иное, как полное господство эстетической свободы. Тот же переворот произошел незаметным образом и в логике, или в теории познания.

Признание самостоятельности беллетристики есть уже

последствие этого отрадного факта. Пуристы могут объяснять его иначе: могут сказать, что оно выражает собою терпимость, свидетельствующую о падении строгого вкуса, который не допускает смешения элементов дидактических с эстетическими. Но не мешает заметить, что самое разделение литературных произведений на художественные, дидактические и беллетристические не могло бы существовать, если бы эти два рода не противопоставлялись один другому. Современная теория отделяет их очень резко; но она до того отказалась от всяких практических требований, что никак не считает себя вправе *запрещать* писателю выражать свои мысли в какой ему угодно форме — будет ли то форма строго художественная, строго дидактическая или, наконец, смешанная. Она не называет беллетриста художником, но отводит ему такое же почетное место в литературе, как художнику и ученому. И странно было бы поступать иначе: ведь чтобы сделаться хорошим беллетристом, точно также не обойдешься без таланта, как и для того, чтобы быть хорошим художником; притом же один из этих талантов никак не может заменить другого. Таким образом, литература перестает быть каким-то мрачным святилищем, недоступным такому числу избранных деятелей, выдержавших мучительно-педантический иску́с, и условия ее вполне сходятся с условием живой речи. Если нет никакого смысла требовать от человека, чтобы он в изустной речи держался или строго художественной, или строго дидактической формы, то какой же смысл требовать от него противоположного в литературной деятельности, которая есть также не что иное, как выражение мысли в слове?

Если у вас есть какой-нибудь талант — дидактический, художественный или беллетристический, пишите о чем сколько угодно и как угодно — только не выходите из пределов своей способности, не думайте, что один род таланта выше другого рода, не подделывайтесь под дарование, несвойственное вашей натуре, иными словами: пишите без претензий и без рецепта — современная критика признает вас талантливым писателем.

Однажды мы уже имели случай сказать, что наш первый современный беллетрист — г. Искандер²⁸, автор романа «Кто виноват?», которого вторая часть помещена была в истекшем году в «Отечественных записках». К замечательным беллетристическим талантам нельзя не отнести также г. Буткова, автора «Петербургских вершин». Летом 1846 года вышла вторая часть этого сочинения, или, лучше сказать, этого сборника рассказов.

В беллетристической литературе весьма важную роль играют путешествия, Они незаметно вносят в массу читателей такое множество разнообразных, хотя и отрывочных, сведений, что их можно назвать одним из сильнейших орудий беллетристики в деле воспитания публики. Разумеется, для достижения этой цели путешествия должны удовлетворять некоторым довольно простым условиям, которым, однако ж, не всегда удовлетворяют. В последние годы один турист обратил изданием своих путевых впечатлений под названием «Год за границей»²⁹ такое внимание нашей публики на вопрос об условиях полезности и занимательности этого рода сочинений, что мнение о предмете установилось теперь окончательно. Можно надеяться, что литература наша навсегда избавилась от той манеры писать путешествия, которая проявилась в произведениях помянутого туриста во всей полноте своего характера. Манеру эту можно назвать не лирическою, как кто-то называл ее печатно, а по крайней мере эгоистическою. Сущность ее заключается в том, чтоб вместо описания страны занимать читателя рассказами о собственных приключениях в пути и о личных обстоятельствах, интересных только для друзей и родных автора.

В начале истекшего года по части путешествий вышла весьма замечательная книга г. Ф. П. Л. «Заметки за границей»³⁰. Во-первых, в ней нет уже ни малейшей претензии со стороны автора занимать читателей изложением обстоятельств, интересных исключительно для него самого; во-вторых, она обнаруживает в г. Ф. П. Л. человека специального, который мог наблюдать виденные им страны с точки зрения коротко знакомой ему науки — именно земледелия: свойство чрезвычайно редкое в наших туристах.

Считаем долгом упомянуть здесь о прекрасном издании гг. Семена и Стойковича, которого первый том вышел прошедшим летом под заглавием: «Нравы, обычаи и памятники всех народов земного шара». Такое предприятие может принести огромную пользу тем больше, что план его отличается обширностью — свойством необыкновенно важным во всяком произведении возникающей литературы.

К беллетристической же литературе относим мы сочинения для простого народа. В прошлом году вторая часть «Сельского чтения» князя В. Ф. Одоевского и А. П. Заблоцкого вышла в свет двумя изданиями. Все подделки под это превосходное предприятие оказывались до сих пор крайне неудачными. Но никогда еще не было такого неудачного покушения составить выгодную книжку для крестьян, каким отличился некто г. Дмитриев, издавший в нынешнем году «Детское сельское чтение». При этом с особенным удовольствием вспоминаем услугу, которую в прошлом году оказал г. Греч для первоначального обучения, издав «Русскую азбуку», лучше которой у нас ничего не являлось еще в этом роде.

Замечательно, что в 1846 году возобновилась было мода на альманахи. В продолжение этого года вышли в свет: «Петербургский сборник», под редакцией Н. Некрасова; «Московский ученый и литературный сборник», изданный, кажется, для того, чтоб доказать, что если в Петербурге можно издать альманах, то нет никаких препятствий издать его и в Москве³¹; далее — «Вчера и сегодня», литературный сборник, составленный графом Сологубом и изданный А. Смирдиным; «Новоселье», часть третья, издание А. Смирдина³², и «Невский альманах на 1846 год». Сверх того, первая часть «Новоселья», наделавшая в свое время столько шума, перепечатана вторым изданием. В наше время издание сборников кажется чем-то чрезвычайно странным. Что за смысл — собрать и напечатать в одной книжке несколько сочинений, ничем не примыкающих одно к другому, несколько одно другого не объясняющих, одним словом, не выражающих никакой общей мысли. Просто альманах

издается потому, что издать его очень легко: стоит приобрести, каким бы то образом ни было, несколько статей и статей в прозе да выпросить у знакомых литераторов десяток-другой стихотворений, которые вообще почему-то не принято продавать и покупать. Часто и прозаические статьи приобретаются даром — по дружбе или по доброте души писателей. Чтоб сшить в одну книгу все эти приобретения, редакторских способностей не требуется решительно никаких: это может исполнить всякий. Остается уметь выбрать бумагу и шрифт да найтись в определении условий красивого и удобного формата книги. А между тем у нас, да и везде, еще так много людей, читающих *для процесса чтения*, что альманах, по всей вероятности, разойдется в продаже. Сверх того, так называемый *редактор альманаха* приобретает лестное и на всякий случай весьма пригодное название издателя, что, по принятому обществом литературному чиноположению, несравненно выше звания простого литератора: с тех пор как убедились люди, что умственный труд не дает работнику права ни на какое особенное уважение, с тех пор и издатели альманахов пользуются теми же преимуществами перед литераторами, как и всякие другие хозяева промыслов перед работниками. Наконец, главное — от редакции альманаха можно незаметно перейти и к действительной редакции какого-нибудь издания, например толстого и плодоприносящего журнала. Стало быть, если угодно, и сборники на что-нибудь да годятся...

Закключаем свою статью указанием на самое умное и общепользное предприятие А. Ф. Смирдина — на превосходное и весьма дешевое издание сочинений русских писателей под заглавием «Полное собрание сочинений русских авторов». Этим предприятием довершил он блестящую эпоху своей издательской деятельности. Все занимающиеся или просто интересующиеся историей русской литературы оценили его новую услугу обществу³³. В истекшем году вышли сочинения Фон-Визина и Озерова.

ПРИМЕЧАНИЯ[\[править\]](#)

В настоящем издании собраны статьи русских критиков

и эстетиков 40—50-х гг. XIX в.; все они написаны и опубликованы (в России или за ее пределами) в период с 1842 по 1857 г.

Составители отнюдь не претендовали на то, чтобы с необходимой полнотой представить в сборнике целый этап в развитии русской эстетики, — эта задача невыполнима в рамках одной книги; поэтому были отобраны такие документы, которые обладают наибольшей репрезентативностью по отношению к основным идейно-эстетическим течениям середины XIX в. Применительно к 40-м гг. это — *демократическое западничество* (в двух его разновидностях), *славянофильство* и *«официальная народность»*; применительно к 50-м — *революционно-демократическое направление*, *русский «эстетизм»* и *направление «молодой редакции» «Москвитянина»*. В настоящем издании не представлены работы И. В. Киреевского, переизданные в его сборнике «Критика и эстетика» (М., 1979); публикуемая же статья А. А. Григорьева не вошла в состав его сборника «Эстетика и критика» (М., 1980).

Целый ряд работ, включенных в настоящий сборник, в советское время не перепечатывался; некоторые работы (часто в извлечениях) публиковались в изданиях, носивших преимущественно учебный характер (последнее из них: Русская критика XVIII—XIX веков. Хрестоматия. Сост. В. И. Кулешов. М., 1978). Статьи, вошедшие в сборник, публикуются полностью (за исключением статей Ю. Ф. Самарина и М. Н. Каткова — см. ниже, с. 516, 529—530).

Тексты печатаются либо по наиболее авторитетным изданиям академического типа (В. Г. Белинского, А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского), либо по первой и, как правило, единственной прижизненной публикации. (Заметим попутно, что вышедшие до революции посмертные издания некоторых представленных в сборнике авторов дефектны в текстологическом отношении.) О принципе публикации статей П. В. Анненкова, см. на с. 527—528.

При публикации текстов сохранена орфографическая вариантность одних и тех же слов: *реторический* и *риторический* и т. д., а также параллелизм типа: *противоположный* и *противуположный*, вызванный одновременным употреблением книжных и разговорных форм данного слова. Не менялось и написание таких слов, как *сантиментализм*, *буддгаистический*, *нувелист*, *венецианский* и т. д., которое являлось характерным для той эпохи. По возможности сохранены и пунктуационные особенности подлинника. В соответствии с современной нормой исправлялись лишь написания произведений, обозначения национальностей и т. п., которые не несут смысловой нагрузки. Неточное цитирование не оговаривается.

Весь материал сборника расположен по хронологическому принципу.

В состав Примечаний входят: краткая биобиблиографическая справка об авторе, указание на источник текста и постраничные примечания.

В Примечаниях приняты следующие сокращения:

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 1—13. М., 1953—1959;

Гоголь — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч., т. 1—14. [Л.], 1940—1952;

Григорьев — *Григорьев А.* Литературная критика. М., 1967;

Чернышевский — *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч., т. 1—16. М., 1939—1953.

Письма к Дружинину — *Летописи Гослитмузея*, кн. 9. *Письма к А. В. Дружинину (1850—1863)*. М., 1948.

Составители приносят глубокую признательность Ю. В. Манну, рецензировавшему рукопись сборника и сделавшему ряд ценных

замечаний.

В. Н. МАЙКОВ

Валериан Николаевич Майков (1823—1847) — литературный критик, эстетик. В 1842 г. окончил Петербургский университет. В 1845 г. — соредактор журнала «Финский вестник». В 1846 г. по рекомендации И. С. Тургенева (см.: *Егоров Б. Ф.* А. В. Старчевский о Н. А. Некрасове и В. Н. Майкове. — «Учен. зап. Тартуского гос. ун-та», вып. 119, 1962, с. 377) был приглашен А. А. Краевским в «Отечественные записки». В 1847 г. сотрудничал в «Современнике». В антропологических исканиях В. Н. Майкова (сближавших его с петрашевцами, В. Н. Милютиным, молодым Н. Г. Чернышевским) заметно воздействие идей современных ему социалистов-утопистов. Майков принимал ближайшее участие (как редактор и автор) в издании «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в русский язык» (вып. 1, 1845) — подцензурного манифеста русских фурьеристов. В области эстетики выступал как сторонник «натуральной школы»; им разработан «закон симпатии», оригинально трактовавший проблему эстетического сопереживания. Майков обладал обостренным критическим чутьем: так, ему принадлежит наиболее глубокое прочтение (в критике 40-х гг.) первых повестей Достоевского. О мировоззрении и эстетических взглядах Майкова см.: *Усакина Т. И.* Чернышевский и Валериан Майков. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. 3. Саратов, 1962; *Она же.* Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Саратов, 1965; *Манн Ю. В.* Валериан Майков и его отношение к «наследству». — В кн.: Манн Ю. В. Русская философская эстетика (1820—1830-е годы). М., 1969.

Статья «Нечто о русской литературе в 1846 году» печатается по тексту первой публикации: «Отеч. зап.», 1847, т. 50, № 1, отд. 5, с. 1—17. Без подписи.

¹ Имеется в виду прежде всего объявление о «совершенном преобразовании» «Современника» («Современник», 1846, № 11), который с 1847 г. стал выходить под редакцией А. В. Никитенко;

фактически же с тех пор руководили журналом Некрасов и Белинский, покинувшие «Отечественные записки». О возникшей в этой связи «нелитературной» полемике между А. А. Краевским и бывшими сотрудниками его журнала см.: *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» в 40—50-е гг. От Белинского до Чернышевского. Л., 1934, с. 63—75; *Кулешов В. И.* «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., 1959, с. 215—217. Помимо коренных перемен в двух основных журналах реорганизации подверглась также газета «Санкт-Петербургские ведомости», перешедшая с 1847 г. под редакцию А. Н. Очкина, который расширил ее неофициальную часть. В 1847 г. начал издаваться «Московский городской листок» (редактор В. Н. Драшусов), просуществовавший только один год.

² Свод критических отзывов о «Бедных людях» см. в кн.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 1. Л., 1972, с. 470—478.

³ Свод критических отзывов о «Двойнике» см. там же, с. 489—493.

⁴ В сочетании имен Гоголя, Гомера и Шекспира, возможно, содержится иронический намек на соответствующие рассуждения из брошюры К. С. Аксакова "Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (наст. изд., с. 42—53).

⁵ После выхода «Бедных людей» сравнение Достоевского с Гоголем буквально напрашивалось. Достоевский писал брату 1 февраля 1846 г.: «Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезисом, т. е. иду в глубину, а разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое, и оттого не так глубок, как я» (*Достоевский Ф. М.* Письма, т. 1. М. —Л., 1928, с. 86—87).

⁶ Термин «натуральная школа» — в негативном контексте — был впервые употреблен Ф. В. Булгариным в критическом фельетоне об изданном Н. А. Некрасовым

«Петербургском сборнике» («Сев. пчела», 1846, № 22, 26 янв.).

⁷ В рецензии на «Воспоминания Фаддея Булгарина» («Отеч. зап.», 1846, № 3) Белинский заявил, что школу, родоначальником которой является Гоголь, «Булгарин очень основательно прозвал *новою натуральною школою*, в отличие от *старой риторической*, или *не натуральной*, т. е. *искусственной*, другими словами — *ложной* школы. Этим г. Булгарин прекрасно оценил новую школу и в то же время отдал справедливость старой; — и новой школе ничего не остается, как благодарить его за удачно приданный ей эпитет...» (Белинский, 9, 650).

⁸ См.: «Иллюстрация», 1846, т. 3, № 43, 16 ноябр., с. 688 (обзор «Александрійский театр»).

⁹ Имеется в виду статья самого автора в «Отечественных записках» (1846, № 11); см. также: Майков В. Критические опыты (1845—1847). Спб., 1891, с. 1—61.

¹⁰ См. указанную выше первую статью «А. В. Кольцов» (Майков В. Критические опыты, с. 31—35).

¹¹ Отрицательные рецензии на книги В. Т. Плаксына «Руководство к изучению истории русской литературы» (изд. 2-е. Спб., 1846) и В. И. Аскоченского «Краткое начертание истории русской литературы» (Киев, 1846) см.: Майков В. Критические опыты, с. 366—380, 381—417. Книга же Н. И. Греча «Опыт краткой истории русской литературы» (Спб., 1821) к середине 40-х гг. воспринималась как безусловный анахронизм.

¹² Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Ермак».

¹³ См. примеч. 1.

¹⁴ Имеется в виду высказывание Белинского из его статьи о «Тарантасе» В. А. Соллогуба («Отеч. зап.», 1845, № 6): «В современной русской литературе журнал совершенно убил книгу» (Белинский, 9, 75).

¹⁵ Майков имеет в виду статьи Белинского начала 1840-х гг. («Русская литература в 1840 году» и др.), однако с тезисом «у нас нет литературы» критик выступил еще в «Литературных мечтаниях» (1834), опубликованных в «Молве». До Белинского подобную идею развивали Андрей Тургенев, В. К. Кюхельбекер, А. С. Пушкин и другие. О смысловом наполнении этой декларации см.: *Лотман Ю. М.* О содержании и структуре понятия «художественная литература». — В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. К 75-летию со дня рождения М. М. Бахтина. Саранск, 1973, с. 25—27.

¹⁶ В 1847 г. точка зрения Белинского претерпела известные изменения. Признавая закономерность отрицательного ответа на вопрос «есть ли у нас литература?», он тем не менее в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» («Современник», 1847, № 1) заявлял, что русская литература начиная с Пушкина обнаруживает очевидное стремление «сблизиться с жизнью, с действительностью, следовательно, сделаться самобытною, национальною, русскою» (*Белинский*, 10, 10).

¹⁷ Наиболее подробно взгляды критика на это издание изложены в специальной рецензии (см.: *Майков В.* Критические опыты, с. 495—508).

¹⁸ Точные названия упоминаемых книг: *Варрен Э.* Английская Индия в 1843 году. (Мадрасское президентство), ч. 2 и 3. Спб., 1845; *Тьер А.* История Консульства и империи во Франции. Пер. Ф. Кони, т. 1—3 (ч. 1—5). Спб., 1846.

¹⁹ Точные названия упоминаемых книг: Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссиею. Дополнения. Спб., 1846, а также: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссиею, т. 1. Спб., 1846; Полное собрание русских летописей, т. 1. Лаврентьевская и Троицкая летописи. Спб., 1846; *Бутурлин Д.* История Смутного времени в России в начале XVII века, ч. 3. Спб., 1846; *Макарий* [Булгаков М. П.]. История христианства в России

до равноапостольного князя Владимира как введение в историю русской церкви. Спб., 1846.

²⁰ «История руссов» («История Малороссии») — рукопись, обнаруженная в 1828 г. и приписанная Г. Конисскому; в 1846 г. она была издана О. И. Бодянским в «Чтениях общества истории древностей российских» (№ 1—4). После ее публикации неоднократно высказывались сомнения в авторстве Конисского, а с 1893 г. «История» атрибутируется как сочинение Г. А. Полетики (возможно, дополненное В. Г. Полетикой).

²¹ Точные названия упоминаемых книг; *Беляев И.* О русском войске в царствовании Михаила Феодоровича и после его, до преобразований, сделанных Петром Великим. М., 1846; Текст Русской правды на основании четырех списков разных редакций. Изд. Н. Калачов. М., 1846.

²² Точное название: *Журавский Д.* Об источниках и употреблении статистических сведений. Киев, 1846.

²³ См.: «Журн. М--ва нар. просвещения», 1846, № 6.

²⁴ Точное название: *Линовский Я.* Об окончательном отменении хлебных законов в Англии, предлагаемом сэром Роберт Пилем, и о влиянии этой реформы на промышленность, на общественную и государственную жизнь Великобритании. — Московский литературный и ученый сборник. М., 1846.

²⁵ Имеется в виду четвертое издание «Географии», составленной Н. И. Соколовским (ч. 4. Спб., 1846)

²⁶ Точное название: *Шевырев С.* История русской словесности, преимущественно древней, ч. 1—2 М., 1846.

²⁷ Имеются в виду статьи Белинского «Опыт истории русской литературы. Сочинение А. Никитенко» (1845), его рецензия на «историческую картину» Н. А. Полевого «Столетие России, с 1745 до 1845 года» (1845) и др.

²⁸ Псевдоним А. И. Герцена.

²⁹ Имеется в виду книга М. П. Погодина «Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник» (т. 1—4. М., 1844).

³⁰ Автор книги «Заметки за границу в 1840 и 1843 годах» (Спб., 1845) — Ф. П. Литке.

³¹ В отзыве о первом программном сборнике славянофилов иронически обыгрывается их пристрастие к Москве и неприязнь к столице.

³² Первая часть альманаха «Новоселье» вышла в 1833 г. В «Литературных мечтаниях» с этого момента Белинский начал отсчет пятого периода русской словесности — «смирдинского».

³³ Ср.: *Белинский*, 10, 53—54.